

Галина Болтрамун



**ЭССЕ
НОВЕЛЛЫ
МИНИАТЮРЫ**

Галина Болтрамун

Эссе. Новеллы. Миниатюры

«Издательские решения»

Болтрамун Г.

Эссе. Новеллы. Миниатюры / Г. Болтрамун — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-908095-0

В книгу включены произведения малой прозы художественно-философской направленности. Эклектика, пересечение жанров. Невольные мысли и вольные интерпретации.

ISBN 978-5-44-908095-0

© Болтрамун Г.
© Издательские решения

Содержание

ЭССЕ	6
О словесности	6
Блеск и нищета философии	13
О подлинном или мнимом преимуществе духа	19
Проблема зла и теодицея	24
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Эссе. Новеллы. Миниатюры

Галина Болтрамун

© Галина Болтрамун, 2018

ISBN 978-5-4490-8095-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЭССЕ

О словесности

В начале было слово. Какое слово? В начале чего? Какие виды ничтожествования и небытия довольствовались собой до начала всех начал? Можно лишь ради забавы рассуждать о безнадзорном хаосе, возникновении космоса и мирозозидающих словах – все наши допущения на этот счет не выдерживают даже нашей критики. Мы располагаем лексиконом иного качества, который в свернутом виде дается вместе с рождением, как группа крови, слух, интуиция. Важнейшая функция языка, как утверждают учебники и энциклопедии, – быть средством коммуникации. Очевидно, что подвизаться в общественных учреждениях и быть свободным от общения нельзя. Но является ли это предназначение языка действительно главным? Ответ зависит от взятой точки отсчета, а точки эти могут располагаться в самых неожиданных местах. Для немалой доли тех, кто ежедневно вынужден высказываться в разных тонах и по разным поводам, огромные пласты словесности вне обихода и стандартного образования так и останутся *terra incognita*. Что теряет индивид, не обладающий способностью заглянуть в иную явь, или, наоборот, что он сохраняет в себе, не поддаваясь сомнительным призывам темной вербальности? Никакие бесспорные выводы не напрашиваются. А споры будут разгораться и гореть синим пламенем до иссякания дара речи на громогласной планете.

Прагматизм, галлюцинации, рациональность и причуды словесности, ее многомерные перспективы и тупики сберегает письменность, в этом многоэтажном и разветвленном хранилище найдется доза бальзама на каждое сердце. Сердца в подавляющем большинстве бьются в унисон с развитием цивилизации, которая периодически затевает ревизию кумиров и приоритетов, окутывает себя сентиментальностью, обрызгивает водами священных рек и вдыхает ароматы летучих мод и поветрий.

Достаточной популярностью пользуются созвучные поступи прогресса повествования, оптимистичные, с прямым и косвенным восхвалением героических стандартов, платонической и плотской любви, с оглашением права битого обстоятельствами персонажа на счастье; сюжеты кочуют из поколения в поколение, обрастая спецификой эпохи, страны, вбирая особенности климатической зоны и политической ситуации. Однако стабильно неувядающую симпатию снискали чисто развлекательные, без сократической подкладки и мусической накидки, жанры, как то: детективы, любовно-приключенческие романы, боевики, сонники, руководства по отворотам-приворотам, анекдотическая по своей убогости мистика и т. п. Такие массовые проекты отменно играют свою роль в деле воспитания расторопного общества потребления. Пусть себе играют; видимо, без этой шарманки оркестр словесности был бы не полон.

На отдельной ступени располагается высокохудожественная изящная литература, вскормленная музами и сеющая на неблагоприятной почве «разумное, доброе, вечное», и доблестное, и романтическое. Благородство, яркие вспышки правдолюбия, жертвенность во имя идеала, стоическое мужество – все это вызывает уважение, а иногда и восхищение. Жаром своей творческой температуры писатель воспламеняет героев-светочей, чающих разбавить темень неприглядного быта и подчас безвременно и эффектно гибнущих на перекрестках мечты и суеты сует. Эта словесность любит восходы и закаты; прикившие к ландшафтам руины не пронизаны жилами скепсиса, не имеют запаха всечеловеческой катастрофы, они напитаны серебристой грустью и медленно выветриваются на фундаментах, гипотетически заложенных в золотом веке. Над садами с античными скульптурами и барочными цветниками смутно реют тени невыразимого, но не будоражат опасные залежи подсознания, а вызывают томление о чем-то возвышенном, возможном, но не свершившемся. Некоторых титанических оригина-

лов удручает неподатливость гравитации, но они не слишком рьяно стучатся в глухие ворота потусторонности, догадываясь, что, вопреки каноническому утверждению, они не откроются. Экстатическая приподнятость не переступает порога, где она могла бы соприкоснуться с безвкусицей, легкая печаль не достигает трагизма, душевный коллапс предотвращается достаточным запасом прочности нервной системы. Такие произведения хорошо читать в юности, когда еще не потеряна окончательно вера в то, что Бог создал человека по образу своему и подобию, а в груди кипит столько энергии, что кажется: ее хватит и на рыцарские подвиги, и на научные открытия, и на освоение туманностей Андромеды, Кастанеды и Парменида.

Особый род письменности – мифология, претендующая на священность своих сур, сурт, панацей и декламаций. Ортодоксальные тексты с годами обрастают внушительным количеством разрозненных комментариев, но всегда являются нерушимой надстройкой гражданского базиса, иногда они видоизменяются или заменяются новыми, но как таковые никогда не исчезнут. Без них нельзя. Почему? Какой силой владеют сказочные по содержанию, не очень сложные, местами вопиюще несуразные саги, которые ниже всякого анализа? Обратимся к одному из самых известных мифов, преданию о сотворении Адама и Евы. Зачем именно в райском саду нужно было культивировать одиозное дерево, которое дразнило и возбуждало первых людей и превращало их жизнь в ад? И что это за такой благословенный уголок, где запросто разгуливает злой дух в виде змея и безнаказанно прельщает невинные создания? Почему ему позволено безобразничать во владениях Вседержителя и чем вообще последний мог бы обогатить интересное присутствие не только в его парках, но и во всем мироздании нечистой силы? Кто наделил злосчастную пару волей к познанию добра и зла и послушанию? Сходные недоумения провоцирует чуть ли не каждый абзац любого мифа. Остается лишь восклицать: «Верую, ибо абсурдно». Непонятно, почему это приписываемое Тертуллиану изречение часто упоминается; оно кажется плоским, не остроумным и перекликается с известным на бывшем советском пространстве афоризмом Ленина «Учение Маркса всесильно, потому что верно», сюда же относится, например, «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Подобного рода «мудрости» производятся в несметном количестве; и что касается мифа, то именно такие «железные доводы» воздвигаются для его защиты, миф и не рассчитывает на хоть сколько-нибудь внятную трактовку, он требует слепой веры и повиновения.

С баснословными поверьями испокон века соседствуют высокие образцы словесности разных видов, пронизанные тоской по истине; но не скрывающие своих противоречий, готовые к самоликвидации продукты сложной душевной деятельности не дерзают назвать себя божественными. А миф в силу своей всесторонней недалекости (вкуче с наглостью?) во всеуслышание заявляет, что он-то и есть подлинное слово Божье, и объявляет монополию на определение богоугодности, праведности и благочестия. Только ли благодаря апломбу и интригующим сюжетам господствует мифология над коллективными представлениями? Трудно судить. Дело обстоит не только так, что миф является порождением незрелого ума, верно и обратное: это миф охватывает сознание и контролирует его деятельность, так что замкнутый микрокосм не подвержен влиянию макромиров и вполне довольствуется войной и примирением домотканых противоположностей. Общественное сознание предрасположено к принятию мифа, тут наблюдается обоюдное тяготение и взаимопроникновение, это любовь на все времена, а о скончании времен не помышляют в царстве идола и кесаря. Типовое просвещение дает исчерпывающие псевдоответы на псевдovoпросы, и неунывающие поколения гордо пользуются успехами прогресса, прилаживаясь к солнечному колесу и отдавая посильную дань светилам на мифическом небосклоне. Бывает, что в расцвеченную ткань мертворожденных легенд вплетаются инородные нити бесцветной одушевленности, но они игнорируются народообразующим большинством и находят банальное истолкование у проповедников мифологии. В утешение ревностным приверженцам фантасмагорий с ними, не поступаясь совестью, можно согласиться,

когда они утверждают, что их верования инспирированы Богом. Инспирированы. Как и все остальное под звездами. Как смогло бы укорениться нечто, Им не поощряемое?

Ницше любил читать только то, что написано кровью. Так уж повелось на затоптанных и заезженных территориях планеты, что за крещение высью приходится расплачиваться кровью. Создаваемая такими органическими чернилами литература заряжена негуманной семантикой, ее стандартно исполненные абзацы и главы пронизаны импульсами неких дочеловеческих перипетий или сверхчеловеческих комплексов. Она складывается как будто под эгидой надмирных архетипов, проистекает из роковой необеспеченности и выносит на поверхность блики парализующих красот, элементы жуткой гротескной бесцеремонности или символы непонятнейшей проблематики. Исходит ли она из преисподней, отвергая устоявшуюся дисциплину, узаконенные масштабы и критерии? Нет. Живописные демоны с величественной осанкой и горящими глазами, равно как и хромые, горбатые черти здесь ни при чем. Тут предугадывается нераздельная первичность, без генеалогии и родственных связей с Архангелом или Люцифером. Эта глобальность крайне безжалостна, имеет в виду только себя и не удостаивает вниманием иждивенцев кислорода, скученных на крохотном осколке тверди и умозаключающих о бытии или небытии Бога на основании эпизодов, разыгрывающихся на вытянутой в окоеме панораме.

Возможен ли диалог абсолютной исконности с 36-градусной болванкой? Вопрос риторический. Тем не менее не все так просто. Непомерное удивление вызывает сам факт наличия смертного, уязвимого и язвительного субъекта в навязанной ему обстановке. Этот субъект, задуманный и сберегаемый для непонятных целей, болезненно ощущает, что он соотносится не только с видимыми и осязаемыми объектами, но и с чем-то еще. В фокусе неизмеримой подспудности индивида бытийствует корпускула, не сводимая ни к физиологии, ни к психике, ни к социальным иллюзиям. Эта корпускула – себе на уме, она не сообщается с другими компонентами личности или даже находится в оппозиции к ним, и именно она тайно перекликается с запредельностью на только им известном наречии. Настают моменты, когда неизученные микроэлементы в подоплеке организма окатывает волна безымянного величия, и у человека захватывает дух (именно дух, не дыхание).

Стремление писателя, вернее, его планида и неотвратимость – запечатлеть вербально приливы и отливы сумеречных настроений, патетику то подспудных, то сверхмерных значений. Желание воплотить невоплотимое никогда не сбудется, из аморфной лавины вдохновения нельзя сгенерировать нечто, воспроизводимое речевым аппаратом, подчиняющееся морфологии и синтаксису. Песня все же каким-то чудом образовывается, и потом из нее хочется выкинуть слово за словом, чтобы обнажить несказанное. Свечи разума трепещут, окунаясь в опасные стихии. Стоят ли эти игры свеч? Или крови? Такой вопрос не возникает перед игроком, а также: чему быть или не быть на кону? Все идет каким-то своим чередом. Те, для кого хоть немного раскрывается содержание написанного кровью, не станут вникать в опусы, начертанные иными жидкостями во имя утилитарного просвещения, интенсивного развращения и коллективного порабощения граждан. Странная доля – сочинять, прикипев к беспрецедентности, тома, где превзошедшая смыслы энергия бродит сквозняками между строк, подсвечивает верхушки букв, завихряет многоточия, а так и не прорвавшаяся наружу весть, расшатав грамматические конструкции, скатывается в бездонные пробелы. Но эта доля не страннее и не страшнее совокупной участи Земли.

Литература (по всей очевидности) создается авторами. Что касается ее коммерческих и популярных видов, то все более или менее ясно и в значительной степени предсказуемо, тут действуют механизмы рынка, законы массового спроса и потребления. Востребованность писателя зависит от его активности, своевременного появления в нужных местах, от вкусовых предпочтений сограждан и деятелей официальной культуры, от усердия рекламных агентов,

имиджмейкеров и других специалистов данного поприща. Художественные критерии в данной предпринимательской отрасли приложить не к чему.

А кто есть автор неудобоваримой литературы? Существо, конечно же, экстравагантное, шагающее не в ногу, не попадающее в струю, прозябающее на обочине. О взаимной неприязни творцов метафизических произведений (по убеждению Г. Гессе, подлинный писатель – всегда метафизик) и здравомыслящего населения поведено много. А пристало ли одиноким носителям невнятной интенциональности, которые, будучи белой вороной или паршивой овцой, оскорбляют благообразные стада и стаи, жаловаться на недостаток внимания со стороны ближних своих? Не пристало. Этим ближних они превратили в дальних, игнорируя моменты серьезных истин, не разделяя державной славы, не лелея прогрессивных надежд и переполняя чашу казенного терпения. И общество должно выказывать благосклонность тому, кто, невежливо отгородившись, разглядывает его сквозь унижающие призмы? И содержать отщепенца материально? Если ситуация складывается так, что «инженер человеческих душ» не в состоянии продать свои нетоварного вида фабрикаты, он не должен роптать, а заработать себе на жизнь иным способом. При неучастии в гонках по служебной лестнице и умеренных приязаниях это не так уж и сложно.

Издавна бытует мнение, что некоторые авторы опережают свой век, что только будущие поколения созреют для того, чтобы оценить их и воздать им должное. Это может быть справедливым по отношению, например, к научным гипотезам, которые лишь через какой-то срок обретут доказательства, подтверждающие гениальные прозрения ученого. У метафизического автора признания не бывает никогда, независимо от того, заговорят ли о нем в каждом университетском углу или забудут окончательно. И не факт, что первое лучше, чем второе, так как все, что оторвано от плоского позитивизма и развертывается в сфере духовности, не может обрести популярность, а если такое случается, то происходит профанация подлинников. Вивекананда, с успехом собиравший в Америке большие аудитории, горько сетовал, что никто из тех, что с пылом ему аплодировали, не изменил ни одной своей привычки. Мода на увлечения скоротечна и неразборчива: сегодня – острые углы кубизма, завтра – круглые лики буддизма, послезавтра – пары парапсихологии (всегда налицо упрощение до уровня пошлости). Каждая эпоха проводит время, поднимая на щит лозунги сиюминутностей.

Как правило, не адаптированный к меркантилизму и маниакальности публики сочинитель не заблуждается насчет радужности перспектив для своих эгоцентричных, нелегитимных детищ. Для чего же, вопреки всему, в ущерб личному благосостоянию, нередко и здоровью, komponует он всю жизнь из элементов лексикона нечто, превосходящее словесную материю, зная, что не достигнет идеала? А ни для чего. Произведение – это одна из составляющих автора как человеческой особи наряду с позвоночным столбом, мышечными сокращениями, обменными процессами. Оно выходит наружу, подобно выдоху, не может не выйти, потому что еще до рождения обреченным вещателем был сделан соответствующий вдох.

Такая соотнесенность со «сферами иными» должна была бы триумфально перечеркнуть все волеизъявления и поползновения ёрнической юдоли, ее насмешки и небрежение вкупе с дифирамбами, почетными званиями, лавровыми венками и премиальными банкнотами. Но музыка горних сфер – неотчетлива, постулаты для творчества – тревожны и двусмысленны, а сопряженность с инобытием носит такой характер, что благоговение то и дело перемежается с ужасом. Невнятные темы и мотивы, навеянные анонимным гулом, остаются аморфными и чужеродными. То, что удастся зацементировать глаголом, полагает себя как нечто конкретное и таким образом обособляется от своих истоков и функционирует в качестве сгустка финитности, который не забывает, однако, своей достойной генеалогии. Мощная стихия, оторвавшая автора от обычных фундаментов, не предлагает иной опоры, ее посулы смутны и не только неоднозначны, но, кажется, – за порогом всех значений.

Влияние нерыночного творчества на прагматизм хлопотливых будней почти незаметно. Длинные километры страниц посвящены неспособности социума впитать хоть что-нибудь, выходящее за рамки практической пользы, развлекательных мероприятий и удобоваримой мифологии; утратило, дескать, общество чистую религию, духовность, потребность в катарсисе. Горькие изыскания на эту тему часто пронизательны и обоснованны, но всегда возникает одно возражение: ничего подобного общество никогда не теряло. По той простой причине, что не имело. Более того, качающаяся между колыбелью и гробом житейщина именно потому и воспроизводится, что строго придерживается своих амплитуд и не попадает в опасный размах духовных стихий. Бюргеры от культуры прилаживаются к кодам эсхатологии и шифрам трансцендентности так, чтобы не нарушить уютной закоснелости, они заботятся о консервации привычного комфорта, добытых привилегий и низводят вещую тьму к нормативам муравейника и обывательскому пафосу. Творческая стихия – разрушительна для любого муравейника. Сенека утверждал: «Свободные искусства не суть благо и нисколько не способствуют добродетели». Да и кто из поборников свободных искусств не делал заявлений в таком ключе?

Словесность подразделяют на роды, виды, жанры и более мелкие разновидности, эта градация – внешняя и второстепенная. По большому счету, есть только два вида письма, условно говоря, – живое и мертвое. В нескольких строфах может отразиться глобальная мировоззренческая проблема с заходящими за горизонт диапазонами, едва уловимая совокупность импульсов и диагнозов метафизики, а объемистый том наукообразного текста, где на каждой странице мусолятся философские термины, может походить на скрип несмазанной телеги. Многие философские диссертации не имеют ничего общего с «рассматриваемым предметом». Посмотреть друг другу в глаза в состоянии лишь те, что находятся на одинаковом уровне, тогда каждый увидит в какой-то мере своего визави даже в том случае, когда взгляд вынужден пересекать бездну.

В обычной практике скрепленная специфичной целостностью доктрина исследуется с каких-то сторон и, будучи объектом анализа, погружается в инородную ментальную среду; в новой обстановке она обрастает новой плотью, потом, став гибридом, вступает в другие связи и снова модифицируется. Таким образом, есть опасность погасить даже мельчайшие блики от ауры первоисточника. Но именно «искра божья» и только она отличает живое произведение от мертвого. Сюжетно-тематические каркасы повестей, теорий или систем не имеют самостоятельного бытия, они неотрывны от своей подсветки; перенесенные на чужую платформу, они перестают быть собой и становятся функциональными деталями иных структур. Только характерное свечение делает творение тем, чем оно является, снабжает его неповторимостью и жалящим очарованием.

Мы храним любимые книги и принимаем к ним вновь и вновь не затем, чтобы освежить в памяти перипетии романа, лейтмотив эссе или необыкновенную заточку научного инструментария (все это давно закрепилось в мозгу), мы возвращаемся на зачитанные страницы, чтобы еще раз отведать тайного (может, и запретного) плода, пропустить через себя магнетизм иноверия или мистической катастрофы, подключиться на какие-то мгновенья к токам надмирности. И вся пронизательность лингвистики не выяснит, почему именно такая, а не иная последовательность частей речи генерирует нечто отделяющееся от языковой материи, несказанное. В разорванности передних планов отблескивает волшебство, которое манипулирует автором. Обращается ли к нам не искореженный болезнями пращур? Или константа отобранной родины? Или наше будущее?

А что происходит, когда за толкование живого произведения берется тот, кто сам питается от «искры божьей»? Схлестывание огней благоприятно для проливания света на таинственную бездонную мглистость буквенных массивов. Когда, например, Г. Гессе интерпретирует Достоевского, дух торжествует, имплицитность выражает готовность к экспликации. Разбор ситуаций, фабул, камней преткновения, психологических лабиринтов или многогран-

ности ума и морали кажется гениальным. Подобные трактовки интересны и значимы даже сами по себе как самодостаточный акт выражения духовности, они могут быть одинаково притягательными и для почитателя творчества Достоевского, и для того, кто с ним не знаком. Возможно, что последний, потрясенный и воодушевленный анализом одаренного немца, захочет немедленно перенестись в специфичные сферы обитания князя Мышкина или братьев Карамазовых и... будет сражен тем, что оказался на балу иных братий и бестий, на дегустации иной аксиологии. Значит ли это, что Гессе где-то ошибался? На такие вопросы нельзя ответить «да» или «нет».

Большие величины обнаруживают единство, так как отмечены прикосновением Всеединого, они пьют из общего источника вдохновения и обречены на сходство постольку, поскольку подчиняются одухотворенной невыразимости. Но гомогенная кормящая стихия сочетается с личностным своеобразием сочинителя, и в результате он порождает уникальные гибриды, объединяющие универсальность и узкую конкретику. У каждого автора есть клады, хранящиеся не только за семью замками, но и под печатями «совершенно секретно», все из них не вскрыет никто даже при наличии глубокого понимания и благоговения. При отсутствии разногласий читатели были бы двойниками авторов и образовывали бы некие пустые множества. Критика любого творения (и благосклонная, и негативная) является в большей или меньшей мере также и его искажением, обусловленным неотвратимой субъективностью исследователя. Гегель предупреждал, что его систему нельзя пересказать другим языком. А Лев Толстой говорил, что если бы его спросили, что он хотел выразить своим романом, то для ответа ему пришлось бы написать этот роман еще раз. Чтобы до конца постичь произведение, надо было бы стать им. Но даже при наличии такой возможности никто не согласился бы превратиться в чужое сочинение, свои иллюзии ближе к телу. Да и к чему это? От смены мировоззрений мир не меняется.

Впрочем, нет ничего плохого в том, чтобы выхватить из неразложимой целостности идею или понравившийся отрывок для анализа, прочувствовать коннотации терминов и понятий, подметить нетривиальность эпитетов, отнести к той или иной категории стиль текста, что-то сопоставить и противопоставить; может, это даже полезно с какой-то стороны, в ходе таких манипуляций не исключено возникновение чего-то самостоятельного, стоящего и талантливого. Правда, часто это похоже на игру. Но – что наша жизнь?

Сгустки, слитки, глыбы и комья языковой материи, различные по весу, качеству, структуре, притягивают и отталкивают друг друга, устраивают пышные парады и претерпевают жестокие коллизии. В дополнение к военным операциям воздух постоянно сотрясают речевые баталии, и остается удивляться, как это еще не сбилось какое-нибудь эфирное масло. Воздух выдержит нагрузку, и бумага, и скрижали, и прочие носители. Только человеческое сердце сжимается под лавиной падших смыслов и просит анестезии. Однако гуманитарные институты усиливают рупоры, и, пока есть порох в пороховницах культуры, мы будем ранить и пытаться убивать друг друга словом, не стремясь к созвучию, видимо, неосознанно полагая, что из множества неправд не сложить правду. А когда ударная волна эвристики размывает остатки отслужившей грамотности, воспрянет та корпускула в душе, которую держал на связи Абсолют. Во что разовьется эта суверенная частица? Если кроме нее от нынешнего Я ничего не останется, то зачем ей нужно было гнездиться в комке бранных волокон?

В начале было слово. Фраза-пустышка, не лишенная привлекательности, не более патетичная и бестолковая, чем «конец света». Бытие не знает концов и начал. Оно есть и ни под каким углом не доступно обозрению смертных. А то, что было в начале бесчисленных процессов становления, – тоже далеко за пределами людского кругозора и понимания; лишь смутные гулы недостижимой инаковости пробивают атмосферу и чуть слышно сквозят в неприкаянном косноязычии.

В филологии не без успеха циркулирует и такая точка зрения, что нет никаких внетекстуальных, междустрочных смыслов и идей, что устная и письменная речь отражает структуру, субординацию и всю жизнедеятельность общества, а абстрактные изыски, побочные эманации концепций или грез поэзии – это всего-навсего болезнь языка. Данной тематике можно посвящать несколько томов, они могут оказаться как бездарными, так и потрясающе интересными. Только каков итог? Раскроет кто-нибудь, что есть здоровье языка? Трудно, конечно, заподозрить в хроническом недуге трезвые и дисциплинированные фразы типа «мама мыла раму». Но и вселенским здоровьем здесь не пахнет. Речевые обороты и выверты, обслуживающие каждодневную рутину, – мертвы. А тексты уровня «Упанишад», «Критики чистого разума» живут и болеют. Исцелить их язвы и раны могло бы только прикосновение истины, но она глуха к мольбам и молитвам, ибо все наши молитвы безосновательны (как они могли бы в здешних условиях стать иными?).

Сотканые из предельных напряжений языка, из его казусов и ребусов живые сочинения непримиримо оппонируют публичным тенденциям и акциям, но не противопоставляют им внятных идеалов. Отпущенная на маркировку страниц квота «искры божьей» не увеличится, иначе она сожгла бы все наличные конструкции, которые, видимо, должны исчерпать себя в ином предустановленном порядке.

Во всеобщую парадоксальность действительности хорошо вписывается и тот факт, что сверхидея словесного произведения выказывается нечленораздельно. А что касается его более низких, изобразительных планов, оно может отражать что угодно, иметь стройную композицию или быть откровенно сумбурным, что-то преподносить, защищать или порицать; это по большому счету имеет мало значения, в любом случае все работает на основную идею. Повествования, не высекающие метасодержания, – крайне скучны, утомительно следить за потугами и перипетиями того, что выброшено за борт бытия. А бытие – это непременная и неотменяемая сопряженность с бесконечностью, бессмертием и полнотой божественного знания.

Никаких ориентиров и указателей в обозримом пространстве Вышние Силы не расставили; нет критериев, чтобы определить, куда гонят нас галактические ветры и догматические поветрия: в сторону Сущего или в обратном направлении. Как бы то ни было, движение не замедляется; и с момента первого крика активируются голосовые связки человека, чтобы неустанно трудиться до той минуты, когда он сложит с себя полномочия своей немощи и произнесет последнее слово. Независимо от его формы, точного лексического значения или полной бессмысленности, оно откроет (какое по счету?) начало инобытия или сбросится со всех счетов. Возможно, только несказанное причисляется к неисчислимости. Любые догадки останутся фрагментами вербальности и разделят с ней судьбу по эту сторону добра и зла.

Блеск и нищета философии

Странствующие по владениям самой опасной и притягательной страны – философии – непременно встретят и чудо, и чудовищ; этим путникам – искать единомышленников и находить alter ego, стучаться в звукопоглощающие двери, все больше отворяя себя для инородных проникновений. Философия не наука, М. Хайдеггер определил ей в сестры поэзию, а про науку сказал, что она, возможно, только служанка философии. Философия – это закон притяжения душ вечностью, неумная жажда духа осуществиться, соотноситься с бытием. Но почему не всем этот закон писан? И почему даже в кругу заболевших истиной нет и не может быть согласия? Каждый на свой страх и риск отправляется в terra incognita, чтобы в одиночку отведать экзотических запретных плодов. Флер запретности до сих пор окутывает стезю познания, а печаль, умножаясь со времен Экклезиаста, все отчаяннее близится к критической величине.

Философское наследие огромно. Несомненно, для того чтобы ощущать разреженную атмосферу отвлеченного знания в общем и целом и вдаваться в детали спекулятивных изысканий, нужно овладеть понятийным аппаратом. Здесь возникает первая сложность. Философские термины невозможно усвоить, как, скажем, действия арифметики, просто в процессе обучения, даже при наличии искренней заинтересованности и приложении немалого усердия. Импульсы любви к мудрости, пусть до определенного момента не очень интенсивные, должны быть составной частью души. Если такие некомфортные и нестандартные компоненты в совокупности личности отсутствуют, акт философствования не состоится. Если они имеются, обнаруживается много иных трудностей. Ближайшая из них – это то, что понятия не могут быть всегда равны себе; окунаясь в мыслительные потоки разного уровня и характера, они изрядно или слегка трансформируются, обретают новые коннотации. С другой стороны, термин накладывается на специфику образования познающего, его духовный и умственный потенциал; психическими особенностями индивида тоже полностью пренебречь нельзя. Не найдется ни одного человека, который тотально и во всех нюансах представил бы, например, функционирование чистого и практического разума именно так, как это виделось Канту (а верил ли сам кенигсбергский гений до конца в то, что прокламировал обладателям этих самых разумов?). Неоднозначные вибрирующие понятия с темнеющей подоплекой – это и есть те элементы, из которых складываются бессюжетные тексты, выплескивающие потоки неуловимой ауры, или выстраиваются строгие и не очень системы, различные по качеству, правдоподобности, степени завораживания и замахиваемости на конечную истину.

Как правило, многоуровневые и разветвленные доктрины сложны для освоения, требуется время и недюжинное напряжение интеллекта, чтобы сориентироваться в предпосылках и подводных течениях концепций, в балансирующей символической, заразить (подчас амбивалентными) императивами, а иногда и развязать хитросплетения. Упорный читатель получает огромное удовлетворение от того, что наконец осилил специфику автора и, кажется, способен разглядеть его глазами, какие порядки имеют место на опекаемых солнцем просторах и смежных территориях. Однако период возбуждения и триумфа длится недолго; вдохновение, как и положено ему, выдыхается, и в рассудок все глубже ввинчиваются холодные струи отрезвления, бурные монологи сознания все чаще перемежаются подсознательным рефреном: «Это неправда». Самые импозантные вербальные построения, спаянные сколь угодно захватывающей авторской эвристикой, – это в конечном итоге только «слова, слова», хотя и привлекающие чем-то из ряда строк вон выходящим. В любом случае каждая самоутверждающаяся система выделяет себя из окружения, имеет границы и омывается со всех сторон тем, что ею не является, но заключает в себе, по крайней мере, не меньше значимости, чем она сама. А то неизменно молчаливое, что обвивает всю совокупность кругозоров, – безмерно, глухо

и неприступно для человека, оно не допускает интервенций и даже отдаленно не соответствует никакому мнению. Суждения и теории манипулируют лишь данностями, брошенными высшей милостью (или злорадством?) на петляющие траектории в воздушном бассейне.

Выпущенные в свободное обращение популяции максим и тезисов могут иногда поднимать бурю в стане эмоций, жалить рассудок вескими «железными» доводами или харизматическими провокациями. Так, например, накаливая умозрение, синхронно вызывают крайнее смущение развернутые выкладки о том, как воплощается «мировой дух», сколько этапов он проходит для самопостижения и зачем он затевает эти хождения в низшие сферы. Какую отдушину надо иметь в мозгу, чтобы отважиться обрисовывать динамику мирового духа? Как говорится, «вас там не стояло». Все, на что способны мирообъясняющие системы, – это вывести свои положения из уже известных положений и таким образом сформировать новый комплекс логических связей с внутренней убедительностью и доказательностью, которые работают только в рамках данной парадигмы. Много удручающего и вместе с тем забавного есть в той серьезности, с которой выученики различных школ пекутся о выдвигании своих теорий на передовые позиции, о придании им статуса объективности и универсальности. Эти «игры в бисер» носили бы более легкий и приятный характер, если бы к ним не примешивалась зачастую слишком явная забота о зарплате, социальном положении, месте в иерархии. Очень точно охарактеризовала эти суматошные и неоднозначные процессы Симона Вейль: «Культура есть орудие университетских профессоров для производства университетских профессоров».

Не причастное к гуманитарным дисциплинам большинство населения игнорирует залежи непотребительских текстов и сопутствующей герменевтики, если эти альфы и омеги ему не навязываются, и выказывает ярую враждебность, если феномены духа покушаются на шаблонные утехы и всенародную мифологию. Легко объяснить такое положение вещей элементарным невежеством масс и их погруженностью в иные, более низкие сферы повседневных хлопот. До некоторой степени это верно, однако в целом суть проблемы гораздо глубже. Если позволено детям природы пренебречь отвлеченными от меркантильного интереса схемами, значит, лишены эти конструкции непреложности. Естество отторгает их, поддаваясь инстинкту самосохранения. Опыление спекулятивной эссенцией здравого смысла привело бы к завихрению последнего, к разладу общего самодовольства и в конечном итоге худо-бедно налаженного быта; эта процедура омовения противопоказана средневзвешенному мозгу, он должен выполнить свои нехитрые задачи, разогнавшись от начального импульса, и свернуться в конечных судорогах. Кто-то должен производить товары первой, а также третьей и десятой необходимости. Много ли теряют дюжинные труженики меча и орала, не вовлеченные в тенета софистики, казуистики и прочей умственной эквилибристики? По большому счету ничего не теряют. Вопреки многочисленным жалобам официальных и доморощенных просветителей, никто не противится знанию. Не принимают то, что в силу своей сомнительности может быть не принято.

Подлинному знанию противостоять невозможно и самоубийственно, оно – счастье; самый ничтожный сгусток молекул с восторгом ощутил бы, что к нему прикасается правда бытия, и в тот же миг избавился бы от своего ничтожества. То, что рождается в прениях и достигается в компромиссах на международных симпозиумах и подпольных сходках, – всегда спорно. Если бы истина захотела явить себя в этот мир, то была бы очевидна без аргументации, она мгновенно возвысила бы всё до своей безусловной правоты; нельзя знать истину, в ней можно только быть, разделяя с ней абсолютную полноту вечности.

Сущее не поймать на логические крючки и не заманить в капканы абстракций, ловцы этой тайны никогда не смогут даже отдаленно сформулировать, за чем они, собственно, охотятся. Все добытое в мутной жиже позитивизма, схоластики, интуитивизма страдает сопряжением со «слишком человеческим», в котором так много звериного, жадно и ненасытно пьющего из гипнотической, кромешной и нерушимой тьмы. Так же как каждое действие ниве-

лируется противодействием, каждую догму опровергает противодогма, и в результате исканий неизменно оказывается ноль – беспощадное мертвящее *смон*.

Если бы в одночасье исчезли все теоретические накопления столетий, не стало бы атомов, архетипов, монад, размножающихся делением -измов, оказались бы насельники выхолощенных континентов более ущербными и уязвимыми? Вряд ли смятение длилось бы долго. На месте пуге развилось бы потихоньку (от простого к сложному) иное интеллектуальное достояние. Но если сам человек субстанциально не меняется, то остается нетронутым его основоположение, и после любой катастрофы на оживающих пепелищах вылупятся прежние фантомы диалектики, мистики и фольклора, слегка модифицируя свое обличье. А затейливые изгибы новых абстрактных систем рано или поздно развернутся в ту единственную для них сторону – в никуда. Напрасны все вдохновенные порывы и мнимые прорывы, если сохраняется незыблемым основной статус человека. Имея в распоряжении несколько обманывающих чувств и комплект силлогизмов, он не участвует в ошеломляющем величии Вездесущего и обречен, опираясь на химеричные фундаменты, делать открытия в масштабах западни и творить себе сподручных кумиров.

Телесные недуги, психические комплексы, все то, что называется судьбой, не подлежит устранению людьми, необходимо таскать этот груз по земным (и только ли земным?) маршрутам до вероятного загадочного пресуществования. Отраслевые науки в какой-то мере облегчают хождения по мукам, предлагают средства для обезболивания и повышения тонуса; обилие технических аппаратов и машин приносит пользу (и соответствующие проблемы) в быту и организации общества. У прикладных наук свои ценности и ориентиры, и не о них сейчас речь. Куда ведет развитие отвлеченных от индустрии и не потакающих массовому спросу теорий? Возможен ли здесь прогресс в обычном смысле этого слова? Движение, конечно, происходит, и генерирует шум, и создает новые ритмы, как и подобает движению. Но Гегель – это не прогресс по отношению к Гераклиту, а Мах и Бергсон не знали по сути больше Платона, хотя последний не оперировал такими славными понятиями, как, скажем, «экономия мышления» или «жизненный порыв». В любую эпоху мышлением руководит сверхмерная и надменная стихия, завораживает и надрывает его, отодвигает от природных и социально-культурных напластований и не меняется в суতোлке конъюнктур, эта сила одинаково лишает значимости и каменные топоры, и скафандры космонавтов.

Философствующий всегда одержим одной и той же идеей – преодолеть подложную явь, выйти хотя бы на чистый простор, обнаружить золотистые выхлопные дымы перводвигателя или отпечатки пальцев вселенской *Alma-Mater* и выдохнуть восхищенное *Ave*.

Мудрость – невольный враг мира, и мир не вынесет ее в большом количестве, ибо умножаемая ею печаль остановит зарвавшуюся эволюцию до срока (а формы неукротимой активности, видимо, должны выработать свой ресурс). Бесплезно вопрошать: что же делает в диапазонах бесперспективности снабженная волей к гибели мудрость, чем кормится ее неадекватность, в каких запредельных областях имеет она корреляты? Мудрость не делает ничего, что связано с деятельностью, она покорна повелению быть и бытийствует, как ей положено. Она заберет в зону своего влияния тех, кому на роду написано там находиться, кто движется к смертному часу, захлебываясь ее горящими постулатами, а не наслаждаясь прелестями всемирного балагана. Мудрость – не актуальна и не старомодна, она не руководствуется ни гуманными, ни антигуманными лозунгами и культивирует отрицание своей харизмы, немея от бесконтактных прикосновений Абсолюта.

Более или менее широкое хождение в академических центрах и на еретических перифериях получают лишь поверхностные мировоззренческие сочинения, не раненные эсхатологическими сквозняками, – те, которые допускают адаптацию к текущему порядку вещей, игнорируя победоносные вихри вакуума. Практический рассудок увлеченно раскручивает свою механику, а с каждым его достижением все лукавее разветвляются лабиринты. Уму пособ-

ничает интуиция, она предпочитает не смотреть в упор, у нее своя тактика (не дедукции, а откровения), она не выводит, а предугадывает то, что ей фатально пред-стоит, предпослано. С учетом их специфики, и интуиции, и рассудку даются материал и методы его освоения для создания многоярусных капитальных сооружений или размытых мозаик, которые, совместно или порознь, монотонно ретируются в гибельные туманности за горизонтом. И только очень глубокий ум и сильная интуиция подозревают, что они, то соперничая, то помогая друг другу, переливают из пустого в порожнее.

Хранилища продуктов анализа и синтеза пополняются. Алчущий света может досыта натешиться его имитациями в дымке архивной пыли, и настанет удушающий момент, когда он захочет вырваться на свежий воздух, под звездное небо, которое не всколыхнули ни чад разлагающихся структур, ни пафос добрых намерений и ни одна доктрина. И может, разбуженная древними позывными созвездий, разыграет генная память современного искателя, нагнетая восторг и ужас пещерных пращуров, и выплеснется его устами в чуткую тишь эфира молитва первых людей, уже вобравшая в себя всю непогоду ментальности.

Так за что бьются поборники различных углов зрения и точек отсчета, повсюду рассредоточенных на низинах и возвышенностях планеты? Развитие интеллекта тоже реагирует на моду, чувствительно к поветриям эпохи, колебаниям информационных потоков и, пожалуй, заоблачных атмосферных фронтов. Солидные принципы и основы, а также виды эпатажной беспринципности подвержены износу и старению, и в подходящий момент является отчаянный пророчествующий вождь и с жаром демонстрирует новейшие тараны для взятия старинных крепостей истины. На вооружение может браться самая разнообразная техника. Некоторые проводники населения в царства обетованные предлагают очистить сознание от традиционных установок, правил науки и логики, чтобы воспринять вещи якобы непосредственно. Подобные эксперименты до какой-то степени возможны, и они проводятся. Тот, кто свободен от изнуряющей добычи хлеба насущного, может натренировать мозг и волю игнорировать известные свойства предметов, законы их функционирования и взаимодействия, чтобы материальные явления, в совокупности и по отдельности, показали себя с какой-то необычной стороны. Результат можно сравнить с состоянием дикаря, никогда не покидавшего джунглей и впервые увидевшего кофемолку, компьютер, автомобиль. Для него эти механизмы будут означать нечто не сопоставимое с их ролью в цивилизованных регионах.

А чем, собственно, чревато или полезно какое бы то ни было нестандартное видение всех этих вещей-не-в-себе, и стоит ли к нему стремиться? Что изменится, если при созерцании дерева не припомнится школьный курс ботаники, а кирпич предстанет не строительным материалом, а, допустим, красным или белым сгущением галактических эманаций или мазком художника из любимого медиумами параллельного (или перпендикулярного) мира? Так называемое непосредственное восприятие ничем по сути не отличается от выводов рассудка; как бы ни напрягался человек, осваивая все новые пласты фактичности, он имеет дело только с модификациями своих чувственных образов. Кажется, что, задействовав по максимуму пронизательность, опыт и фантазию, немало можно откопать неожиданностей в прикомандированных к юдоли объектах. Но все дело в том, что это данности с такой родословной, что лучше бы их поскорее забрала назад рука дающего. Что представляет собой якобы самостоятельный предмет, если он меняется от способа его изучения? Ничего не представляет. Его нет. То, что поистине существует, не зависит от институтских расчетов, дилетантских просчетов или технологии переоценки ценностей. А зондирование на все лады и допросы с пристрастием фантомных явлений ни на йоту не продвинут исследователя на пути онтологического постижения мира. Воз и ныне там, где он застрял в эпоху наскальной живописи и охоты на мамонтов.

Здесьняя жизнь, какой бы мизерной и механической она ни была, ощущает себя в меру своих возможностей и тщится как-то разобраться с тем, что с ней фатально и неотъемлемо соседствует. Таким образом, постоянно совершаются акты познания на примыкающих к уму

и сердцу территориях, где, будто бы в насмешку, начала переходят в концы и наоборот, где хаотично пересекают один одного герменевтические круги, усложняются антиномии, избежать которых можно, только сведя мышление на уровень «святой простоты». Плоды изысканий научных центров и академий служат наращиванию показательной информации, тешат тщеславие рассудка, но ничего не дают душе, которая неизменно видит дамоклов меч над любым очерчивающимся силуэтом зрения или умозрения и, за неимением лучшего, довольствуется пустотой.

Непоправимо аномально все то, что, развиваясь, синхронно разлагается, уступая место такой же, несколько модернизированной, никчемности. Смертность – это атрибут небытия; существо, подвластное смерти, не имеет ни малейшего понятия о жизни как таковой и не в состоянии делать заключения, соотносимые с подлинным бытием. Тем не менее извилины под черепом не устают напрягаться, накаляются, развертывают заложенные в них шифрограммы и выдают на-гора летучую продукцию. Некоторые концепции обретают быструю популярность, молниеносно распространяются по континентам, живут несколько лет или десятилетий и забываются. Есть долговременные учения с отпечатками катаклизмов и доминант не нашей эры. Так ли уж велико между ними различие? Марк Аврелий заметил, что если предстоит умереть, то какая разница, сколько жить – сто дней или сто тысяч лет.

В таких условиях нищета философии – неизбежна и необорима. А что означает ее блеск, то слабо, то более интенсивно прополаскивающий абзацы и строки? Ничего не означает. Он призван не генерировать смыслы, а сиять, он распознается избыточной дальнороркостью, но не проступает на обычных полях зрения; нет, это не лучезарные знамена надежды в конце тоннеля под названием юдоль, это приглушенные люксы, оторвавшиеся от некоей разновидности Того Света, не понятно, дружеского или нет по отношению к человеку. Может, эти пустынные проблески намекают о возможности спасения, а может, призывают к гибели, пронзительно возвещая, насколько выше и прекраснее небытие карикатурных бдений и нешуточных тягот рода людского. Чаще всего кажется, что эти два мотива переплетены и сопрягаются с веяниями гипнотического лиризма, беспредметной восклицательности.

Только в юности можно страстно метаться от одного откровения к другому, трепетать, касаясь очередного фолианта в роскошном переплете или подпольно изданной брошюры, азартно надеясь, что именно тут и зарыта собака, на которую опираются небосвод и все непреходящие ипостаси Универсума. С годами набирается опыт взаимодействия с магнетизмом письменности, мучительно вызревает понимание, что книга – сомнительный учитель в жизни и никакой посредник в смерти, что далеко не все то, что именуется философским, содержит хотя бы легкие штрихи этой рвущейся в трансцендентность стихии. Однако такое выстраданное понимание не уменьшает силу любви к мудрости. Не поддающаяся дефинициям и наставлениям философия, древняя, как миражи Сахары, и юная, как сегодняшний рассвет, будет щедро поить алчущих воскресения своими бальзамами и ядами до момента сдачи двух наших эр в какой-нибудь межгалактический архив. Пока шевелится дыхание в телах, всегда будет небольшое количество рук тянуться к солидным или обшарпанным обложкам с названиями, содержащими магический корень -soph-.

Философия не одаривает сокровищами своих рыцарей и не излучает спасительную для мира красоту, она и сама – непонятно что, балансирует на призрачных стыках бытия и небытия. Ее специфичный стиль и методологические вольности, несводимость к «чистому опыту» и «протокольным предложениям», ее неподверженность верификации насыщены собственной правотой. Эта правота не может найти и не ищет подтверждения в сферах естествознания с его плоским детерминизмом и фетишизацией счетчиков, датчиков, мониторов и луп. Те, что пытаются приучить философию функционировать по законам позитивных наук, воспринимают лишь некоторые ее внешние аспекты и не чувствуют ее ни к чему не сводимой сути. Философия, в какие бы уголки она мимоходом ни заглядывала, всю мощь пронизательности

направляет в бездны, и они (вспомним знаменитое изречение) то приглушенной, то звонче какими-то гранями своей гомогенности в ней отражаются. В подлинном философствовании не бывает второстепенных проблем, все они одинаково подшиты «мировой скорбью» и неисчерпаемостью. Как между строк возникает вакуум или дыхание внеположных естеству субстанций – навсегда останется загадкой. Уже стало банальностью из-за частого упоминания заявления авторов о том, что их пером кто-то водит как бы помимо их собственной воли. Да. Тот же, кто водит светила по их орбитам, производит сцепление безысходности и перспективы, организовывает переключку между атомом и Атманом.

Ценность философии (если об этом вообще уместно вести речь) не в сумме добытых знаний, которые имеют вероятностный характер и, накапливаясь, никогда не отменяют некомпетентность подданных провального царства, где гибель искони заявила претензии на все их абстрактные и физические успехи. «Человек есть нечто, что следует преодолеть», – прокламировал Ницше.

Если землянину суждено превозмочь свой кризис, то в итоге окажется не сверхчеловек. Сверхчеловек в каких угодно ипостасях – это дефектное изобретение страждущего интеллекта при содействии дерзновенной и подслеповатой интуиции. Любой идеал, который можно помыслить, прочувствовать, вытащить из подсознания, – это элемент принудительной посясторонности с ее тупиками и катастрофами. Все, что в какой-то мере доступно людскому племени, заражено противоречиями, уязвимостью и обреченностью и не может служить делу освобождения узников из сетей материи и мистерий. Каждой единице подлунных множеств уготовлена встреча с чем-то совершенно иным. Для полного преобразования или такого же полного поражения?

Ценность философии (если это ценность) в том, что в ней как будто сквозит приветствие посвященным, напоминание о вопиющей неуместности нахождения в ареале апокалипсического зверя. Непостижимым образом в энергию философской эксплицитности вплетается непроявь – беспримерная нещадная чистота, дезинфектант, нейтрализующий злокачественное брожение интриг и страстей, заумы и мракобесия, инстинктов, гормонов, секретий. Какой-то не обнаруженный биологией и психологией компонент в человеке, леденя от страха, ждет вторжения этой чистоты и, несмотря на яростные протесты воли, снобизма и мозга костей, уже присягнул ей на верность. Убийство ложной самости произойдет, тут не приходится сомневаться. А будет ли воскресение? И в лоне ли бытия?

А если земной мир подлежит окончательному уничтожению, то для чего была организована эта презентация во времени бесцельных одержимостей? И зачем в таком случае щупальца вечности ворошат пласты неоттвуживших безымянных залежей в душевных тайниках, словно прибирая к рукам свою собственность? На вопрошания такого рода правильными будут лишь ответы, данные на языке бесконечности, то есть не предназначенные для слуха землян. Но, не надеясь на ответ, вновь и вновь в какой-нибудь точке планеты разбуженное удивлением существо, вождедея несбыточного, под аккомпанемент ужаса сформулирует на свой лад и выплеснет в бездну наблевшие «проклятые вопросы». И так впишется еще одна страница в историю философии.

О подлинном или мнимом преимуществе духа

С незапамятных времен обществоведами различного толка, антропологами, антропософами, мизантропами и рвущимися в сверхчеловеки все земляне явно или завуалированно подразделяются на два неравных сорта: на массу (подавляющее большинство), выступающую, несмотря на внутренние разлады, монолитно, и малое количество индивидов, отмежевавшихся, насколько возможно, от государственных программ, публичного энтузиазма, культовой лихорадки и неспособных договориться даже между собой. Наиболее часто эти две составляющие рода людского пристрастно именуется как посвященные и профаны, гений и толпа, поэт и чернь. Утихомирим эмоции и возьмем нейтральные определения: человек духовный и человек природный. Назовем первого метафизиком, второго – прагматиком, не привязываясь сильно к значениям этих терминов, просто для удобства.

Начнем с прагматика как типичного представителя народонаселения. Он уверен, что живет в реальности, и не допускает альтернативных состояний, уравнивает права и обязанности, растит потомство и знает, что к чему и почему в городах и весях отчизны и за ее рубежами. Данная среда обитания кажется ему единственно возможной, неотвратимой, все явленное принимается на веру как само собой разумеющееся. При подходящей ситуации прагматика не прочь поплавать по волнам яркой остросюжетной мифологии, наметить прогрессивные цели человечества; некоторые из них искренне пытаются облагородить будни идеалами, но это обязательно должны быть идеалы, не угрожающие психическому здоровью, пищеварению и хорошему настроению. Прагматик инстинктивно реализует себя как часть природы, функционирует как орган ее многосоставного организма, испытывая радость от удовлетворения физиологических и прочих потребностей, выплеска энергии в жестоких схватках, от прилива сентиментальности или отлива напряжения. Никогда естественные люди не мыслят отъединения от естества, слаженная ментальность не содержит точку зрения, с которой можно было бы подвергнуть сомнению фундаменты и ценности данного жизнеустройства, «здесь-бытие» для них безоговорочно и свяшенно, в нем – альфа и омега, назначение и судьба всего сущего.

Установки заурядного сознания вызывают у метафизика крайнее изумление, граничащее с презрением. Как можно, даже при отсутствии острого ума, игнорировать вдающуюся во все предметы потребления и поклонения бесконечность, ее непостижимость и пугающее молчание? Как можно планировать, рассчитывать и вдохновляться в мимолетной жизни так, как будто ей нет конца? Иногда пораженный неуязвимым беспочвенным оптимизмом, фонтанирующим на всех полях битв и деятельности, метафизик подходит к прагматику с элементарными вопросами, которые, казалось бы, сами напрашиваются, например: «Зачем существует наш выморочный мир и почему он так устроен?» Прагматик часто отвечает: «Он таков от природы». «Но почему же он от природы именно такой, а не иной, и почему ему назначено быть, а не ничтожествовать?» Верующий наивный человек может процитировать известного церковного авторитета, неверующий упомянет ходячие наукообразные штампы, чаще всего невпопад, оба отвечают из вежливости и желают, чтобы их поскорее оставили в покое. Их раздражают сами попытки исследования типа «что есть дерево или комета?», ведь ясно, что это дерево и комета. «Для чего мы здесь, на каком основании мы можем доверять чувствам и умозрению при анализе действительности?» – не унимается метафизик, которому удастся завязать беседу, но вскоре его пыл иссякнет, растекаясь по глухой стене антагонизма. Догадались, что произойдет, если затеять широкомасштабные опросы в таком ключе? Правильно, вопрошающих постигнет участь Сократа.

Сроднившегося с законами экономики и обрядности обывателя не трогают ни выпады агностицизма, ни обороты фондов гносиса, ни даже закат Европы и остальных материков,

он с энтузиазмом вращается в своем круге, радиус которого приравнял к астрономическим величинам, и верит в незакатность своей звезды. Если такой человек посвящает себя науке или искусству, то это всегда позитивная наука, опирающаяся на факты и приводящая к утешительным выводам, или жизнеутверждающее искусство, что, независимо от муссируемой проблематики, не замахивается на достоинство подлунного мира как такового. Эта безразличная к веяниям трансцендентности утилитарность – обязательное условие сохранения общества, сменяемости поколений, движения вперед с попутным ветром истории под штандартами злободневных идеологий. Радиация философских постулатов смертельно опасна для нестареющих трех китов, на коих зиждутся трюизмы и маразмы Земли, поэтому лишь малая доза фатального облучения проникает сквозь охранительную оболочку над плодородящей почвой. Отношения естественного человека с гипотетическим потусторонним миром исчерпываются соблюдением церемоний, установлением табу, разработкой праздничных сценариев, одеяний и причиндалов. Прагматик живет в «теперь» так, словно никогда не закончится пир инстинктов, и, дыша на ладан, печется о том, как будет выглядеть в гробу в часы ритуала, дает распоряжения по организации своих похорон, скрупулезно делит имущество между родственниками. Каждой клеткой угасающего тела и мозга он здесь, мысли будут фокусироваться на привычных вещах до тех пор, пока не затвердеют жилы. И кажется, что у его изголовья стоит простоволодая мать-природа и заслоняет недогнущего питомца от непогоды надвигающихся бездн.

Метафизик знает, что природа – иллюзия, также как и функции, медико-биологические стандарты и обескураживающие сюрпризы его собственного организма. Конечная бессмысленность научных изысканий и самопознания в ограниченной, замкнутой системе, где не вскрываются даже внутренние тупики, доводит его до отчаянья. Его одержимость всеохватной грандиозностью Абсолюта не позволяет отнестись всерьез к сутолоке скоропортящихся явлений, образующих причины и поводы для жалкого гуманизма и потрясающей бесчеловечности. Платон говорил, что все, кто отдавался философии, не делали ничего иного, как готовились к умиранию и смерти. Вне зависимости от степени подготовки смерть вступает в игру в любом акте трагедии или комедии, рывками или плавно перетекающих друг в друга на пышно декорированных континентах под синим балдахином. Прагматик инстинктивно убежден, что пресловутая дама с косой до него не дотянется, а чаще он ничего не намерен на этот счет полагать, так как ему некогда заниматься подобной чепухой, у него всегда важные дела.

Не откликающийся на директивы и приманки эпохи метафизик улавливает нечеткие позывные «мировой души» и страдает от того, что им невозможно следовать, посвящает абстрактным объектам своего обожания ночные бдения и трактаты и опускает тяжелые веки, когда на полотнищах зари проступает скользкий профиль демиурга. Этот владыка играет подъем и отбой на подчиненных ему территориях, его сатрапы создают условия для подвигов и трюков, его музы муссируют вдохновение наряду со зловещими сивиллами, массирующими печенки. Этот наместник Хроноса возводит империи и насаждает императивы для демократов и автократов, циников и лириков, ортодоксов и рецидивистов. Однако не в его власти погасить проблески инобытия, неуловимые энергии, от которых питаются рвущаяся за горизонт дальнзоркость, сверххитрые идеи, беспредметные установки, спекулятивная поэзия, культивирующая безобразность в образах, содержащая элементы надмирной патетики и порывы к саморазрушению.

Общеизвестны и даже набили оскомину сетования адептов высокого глагола насчет чрезмерного иммунитета к нему человеческих сердец. А насколько высок этот глагол? Подлинно пресуществляющим может быть лишь слово из небесного лексикона; даже феноменальные варианты земной словесности – недостаточны и несканно грезят о самопревосхождении. Риторика метафизиков не пошатнет константы социума, потому что она асоциальна по сути, лишена солнечного веселья, соли земли, ее крови, соков и пота; строки извиваются, перехлестываются, выходят из себя с единственной целью – втянуть и пропустить между букв косми-

ческий сквозняк. От этих веяний и прочих аномальных неатмосферных осадков защищены головы тех, кто радостно и бездумно изживает себя в отраслях промышленности и объятиях шоу-бизнеса.

А «слушатели слова Божьего»? Действительно ли оно к ним обращается? То, что им слышится, сводит на нет всю видимость, но не имеет определения и не дает надежды. Чего достигает индивидуум, покинувший родное стадо и последовавший за еле внятной дудочкой духа? Пробуждается, ощущает кошмарную обманчивость окружающей обстановки и, снедаемый порывами томящих интенций, продолжает избывать себя, и при этом осознает весь ужас своего положения. Прагматик, чей кругозор оторочен столпами материализма и освещается марочными лампами прогресса, расценивает тягу к запредельности как безумие, и он прав, что с позиций здравого смысла она не объяснима.

Опаляемый многофазным током отчаянья метафизик на пике истомления высказывается иногда в таком роде, что завидует крестьянину, возделывающему нивы и умеющему выразить в песне всю свою незамысловатую горько-сладкую долю. На деле же он не променял бы своей неустроенности не только на сельские заботы и отрады, кулачные бои, щемящие распевы и частушки, но и на несметные сокровища, добытые всеми правдами и неправдами планеты.

Прагматик не в состоянии поколебать умозрение метафизика и пристрастить его к интригующим зрелищам, запаху домашнего уюта или мелодиям полковых оркестров, а метафизик не может предъявить природному человеку бескачественные феномены, порожденные беспримерной динамикой над- и подсознания. Оба, накапливая неповторимый взаимоисключающий опыт, движутся в одном направлении к последней границе, за которой – гипотетическая безграничность. Если будущая жизнь земным обитателям уготована, важно ли, с каким багажом подходят они к роковой черте? Может, и важно. А может, и нет.

Ответственность живой единицы за свои поступки предполагает наличие у нее свободной воли. До какой степени спросится с того, кто лишен этого дара? В подавляющем большинстве люди считают, что обладают самостоятельным волением, потому что имеют желания и возможность выбора. Так ли это? Если, допустим, кому-то будет предложено выбрать себе букет цветов и он предпочтет желтый, то проявление свободы здесь только внешнее. Желтый цвет нравится этому человеку, он его притягивает, и притяжение это невозможно обосновать. Так же обстоит дело при выборе профессий, веры, вида развлечений и всего остального. Биологическое существо не в состоянии преобразовывать или удалять свои инстинкты, фобии, умственные задатки и душевные склонности. Ими насильственно наделяются при появлении на свет и метафизик, и прагматик, причем каждому отводится диапазон, в котором он может несколько маневрировать, менять привычки, шлифовать талант или практические навыки. Рожденный ползать, например, способен развивать скорость, совершенствовать хватку при покорении скользких объектов, адаптироваться к песку или снегу, но он не поднимется в воздух. Однако и данных в любой сфере жизнедеятельности потенциалов достаточно, чтобы создалась видимость проявления инициативы, возможности выбора, выковывания гражданином своего счастья. А на самом деле каждый любит то, что ему нравится, и стремится к тому, что его влечет. Некий отлаженный свыше конгломерат сил притяжения формирует совокупное напряжение Земли. Вот и вращается наэлектризованный шар по заданной орбите, наматывая километры и проматывая жизни на своей поверхности, пока не прикатится со всеми иконами и мамонами на Страшный суд или не закатится за грани небытия.

Чему равняется квота ответственности и неповинности как мучеников духа, так и потакателей тела в безвыходной зоне заточения? В каких единицах могла бы она измеряться? Не родится такой мудрец, чтобы дать ответ. Каждый бытующий под солнцем принужден к договору с князем мира сего. Ни один здешний титан не проторит пути искупления ни братьям

по несчастью, ни самому себе. Это под силу лишь Тому, в чьей власти очерчивать и раздвигать горизонты в бесконечности.

Все обретенное и выстраданное в суматохе будней является их достоянием и исчезнет вместе с последним закатом; прогресс и эволюция – это взаимодействие, конкуренция, баталии и парады ипостасей тщеты. Те, кто нашел благополучие и надежду в таких условиях, – дети времени, они не в состоянии ни осмыслить свое положение, ни представить проблему освобождения во всем ее величии и ужасе. Улыбчивым идолам удастся отвести взоры масс от предстоящей Судьбы и тешить их примитивными уладами в паузах между боями за вящую славу владык или передел капиталов. Небо не спешит сжалиться и прекратить вопиющий эксперимент. Что ж, ему виднее с высоты.

Прагматик умудряется сплавить свои дни, (перефразируем классика) нисколько не удивляясь звездным сонмищам над головой. Он с гордостью внимает торжественным рупорам, восславляющим достижения *homo sapiens*, и с упоением читает опусы о техногенном счастье грядущих поколений. Не важно, что ему самому этого пресловутого будущего не достанется. Естественный человек с удовольствием реализует свою долю пешки на поле вторичных событий, он всецело поглощен потоком сиюминутностей, вибрирует в унисон с его приливами и отливами и, не замечая этого, легко отдается волне, что сметет его за край небосклона.

Тот, кто провидит зомбированность сознания, не выходит, как и прочие, из подчиненного состояния, однако, играя свою роль, всегда чувствует направляющую руку закулисного кукловода. Эта десница – железная, никто не сместит расставленные ею акценты в развитии сюжетов, которые сводятся к вариациям отношений господства-угнетения. Немногие упрямые одиночки, кому посчастливится избежать вульгарных внешних конфликтов, запутываются в коллизиях собственного Я. Внутренние бури выносят наружу клубы пафоса и отчаянья, что, обретая форму и поддаваясь сублимации, творят и питают культуру.

Как милость Творца можно расценить тот факт, что заложникам страстей и напастей назначен недолгий срок. Зачем-то должен человек познать вкус никчемности и унижения. Прагматик не виновен в том, что он не снабжен рецепторами для восприятия импульсов Вездесущего и тратит себя без сожаления на потребу официозу и демографии. А метафизик не заслуживает похвалы за свою относительную проницательность, он получил ее даром; по каким-то мотивам он наделен качествами, отличающими его от окружения. Но имеет ли человек духовный, изъязвленный щупальцами безродных экзистенций, хоть одно реальное преимущество? Находится ли он ближе к трону мироздания, чем его беспечные соплеменники? Любое допущение останется без доказательства. Все гипотезы об иерархиях и установлениях космических миров – это лишь недалекие выверты нашей фантазии, симулякры на глиняных ногах.

А коль скоро тщетны усилия выйти за рамки понятий и представлений и перед всеми одинаково рисуется сумрак неизвестности, не лучше ли провести отпущенный период в свое удовольствие, не растравливая неизлечимые раны в эксцентричной самости? Может, и лучше. Но, как говорится, каждому свое. Разум никогда не прельстится дешевыми развлечениями, единственная отрада для него – укрыться как можно дальше от ярмарочного оптимизма. Если сущность индивида имеет отверстость, он ни за какие блага не захочет залатать ее непрочными тканями естества (да это и невозможно). В эту прореху втекают флюиды невоплощенного, и душа цепенеет от ужаса, сознавая, что ей не вместить бесподобную грандиозность и надо расширить себя до неимоверности. Будет ли при этом боль выносимой? И что именно должно свершиться?

Индивид, пораженный тоской по вечности, – одинок, ему не суждено слиться с лигами и кликами, чтобы синхронно содрогаться в экстазах и проказе и совместно переработаться в прах. Его мельница – всегда на отшибе.

Естественному человеку, напротив, не знакома жгучая динамика духа, он изначально сращен с антуражами кажущейся реальности, призывы опомниться и осознать себя он вос-

принимает как выкрики сумасшествия. Значит ли это, что у него нет души, что его никогда не окликнет божественный голос и он уплывет в никуда вместе с фантомами времени? Ни одному смертному не дано знать.

Метафизик всеми фибрами эго и суперэго нацелен на выход за пределы иллюзорной объектности, мнимых величин, психических комплексов и лирических ракурсов. Он необратимо сопряжен с таинственной потусторонностью, является ее корпускулой? ставленником? краткосрочной забавой? В любом случае эта связь живая, она – единственное подобие жизни в земной атмосфере. Означает ли это, что Абсолют по-особому расположен к людям такого склада и призовет их к себе? Нет ответа. Вымыслы на эту тему всегда непривлекательны. Никто не уполномочен выступать с заявлениями и трактовками от имени Абсолюта. Однако каждому в отдельности придется выяснить с ним отношения. Результат не только непредсказуем, он ни в коей мере не соотносится с масштабами человеческого сознания и станет очевидным, когда человек прекратит быть таковым.

Проблема зла и теодицея

Зло как морально-этическая категория, могучий выплеск мировой ночи и неотъемлемая составляющая каждодневной рутины исследуется, видимо, с тех пор, когда в человеке проснулась потребность осмыслить окружающее и самого себя как единицу в гуще таинственного многообразия. Уже первобытные общества вводили табу и на дымчатом фоне регулярных жертвенных закланий пытались разобраться, «что такое хорошо и что такое плохо»; с тех каменных и железных эпох никому не удалось окончательно разграничить эти сложносоставные явления и не путать черное с белым. Как было в доисторических потемках, так и ныне в электрических излучениях пагубная роковая стихия руководит всеми практиками, идеологиями и утопиями; посягнуть на ее господство не под силу ни лигам наций, ни храбрым диссидентам. Специально и настойчиво интересующиеся данной проблемой, конечно, осведомлены, как трактовали этот врожденный порок всех сердец Плотин, Блаженный Августин, Спиноза, Макиавелли, Лейбниц и многие другие, включая наших современников. И, наверное, каждый прочитавший Библию запомнил, хотя бы в общих чертах, сетования Экклезиаста:

«И еще довелось мне увидеть под солнцем, что не быстрым удача в беге, не храбрым – в битве и не мудрым – хлеб, не разумным – богатство и не сведущим – благословенье, но срок и случай постигает их всех.

И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, все – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!

Еще видел я под солнцем: место суда, а там беззаконие; место правды, а там неправда.

И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их – сила, а утешителя у них нет.

Есть и такая суета на земле: праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я: и это – суета!»

Такие вот константы эволюции, обрастающие в каждом веке злободневными переменными. Свидетели и служители научно-технического прогресса могут добавить к этому классическому причитанию множество припевов, сложенных под влиянием индустриальных успехов, фармакологических побед и наркологических поражений. К чему бы ни сводили идеологи и аналитики окаянство земного уклада, оно намертво стоит на своем; и, несмотря на обилие четких аргументов и смутных гипотез, логических выкладок и казуистичных вывертов, приходится вновь и вновь угнетенно констатировать: фатальная греховность совокупной динамики под облаками намного шире ее объяснений. Как бы ни интерпретировались обыденные и чрезвычайные изъявления злополучия и злорадства, все трактовки – лишь забава, если вражда каждого против всех не сбавляет обороты, оттачивая и разветвляя по ходу истории свои формы и виды. Кроме того, слишком глубоко зондировать эту тему страшно, так как уже при первом серьезном приближении проглядывает интимная и неразрывная связь между любовью и ненавистью, а напрашивающиеся выводы могут навсегда отбить желание заглядывать в подоплеку тенденций и пертурбаций.

В среде богословов – профессионалов и любителей – периодически создаются апологии царящего порядка; имеет место, в частности, такое мнение, что зла не существует, что оно есть

мера небытия и отсутствие добра. Манипулируя приемами теологической софистики, мифотворчества, науки и псевдонауки, можно сконструировать немало то голословных, то баснословных теорий насчет этой холерической силы; бумага, как известно, всё стерпит, а чахнувшим под ударами конкретных бедствий бумажные мудрости не принесут ни малейшего облегчения. Вряд ли и прямолинейных ортодоксальных верующих миновала чаша сомнений, нельзя не задуматься: зачем (по их определению) всеблагой, справедливый и любящий Бог допускает жестокость и вероломство? А откуда эта аксиома, что Бог есть любовь, доброта и милость? Н. Бердяев: «Человеческая совесть не может вынести бесчеловечных, не духовных и не моральных свойств, почти зверских свойств, приписываемых Богу, Творцу мира». Конечно, нелепо приписывать Богу зверские качества, но то, что Он бесчеловечен, – понятно, ибо Он не человек, следовательно, относится к нам со своих позиций, а не с общественно полезных. Только Он знает, какое место в Универсуме занимает вертлявая планета, суетливо адаптирующаяся к своей произвольности, и чего стоят на ней завихряющиеся дымы святотатства или чинные ароматы ладана и елея.

Проблемы зла на всех уровнях социального развития и застоя часто формулируются в корне ошибочно и не отображают фактическое положение вещей. Дело не обстоит так, что зло действует в мире, который хорош или нейтрален, и заражает его отдельные составляющие.

Допустим, объявился бы волшебник и устранил бы те пороки, что на первый взгляд зависят от намеренности людей (эксплуатация труда, войны, алчность, неблагородное поведение и господ, и рабов и т. д.). Оставим в стороне вопрос, возможны ли вообще в такой ситуации развитие производительных сил и так называемый прогресс. Предположим, люди научились обеспечивать себя материально и развлекаться, не поедая друг друга, создав атмосферу относительного благополучия и взаимопомощи. Безусловно, жизнь стала бы уютнее, безопаснее в бытовом плане (что тоже важно), однако на этом фоне еще острее обнажились бы клыки зла непобедимого: диктат физиологии, позорная подчиненность року, случайностям и закономерностям, гравитации и естественному отбору, всеобщая взаимосвязанность, болезненная порча телесных и ментальных компонентов личности по мере продвижения к финалу, за которым – пугающая неизвестность.

Сама действительность, что распадается на неуловимые элементарные частицы, изображает себя в виде грандиозных космогоний, будучи совокупностью агоний, – абсурд. Огромное несчастье – обретаться куском уязвимой плоти, покоряясь голосу крови, воплощать кризисы веры, казусы настроения, ребусы суеверий. Еще большее несчастье – иметь автоматный ум, группирующий и дифференцирующий сомнительные реалии, с ужасом провидящий бесконечность регресса обоснований и неизбежность снятия всех своих выводов и озарений. Одинаково чудовищен и смехотворен закон, по которому все зародившееся, куда бы оно ни устремлялось, движется к своему концу. С другой стороны, все известные жизнеформы настолько неудовлетворительны, что даже в мыслях страшно допустить их бессмертие, а круговорот веществ и существ в отчей природе сопровождается такими трениями, что при наблюдении этих процессов часто обуревают радость, что «и это пройдет».

С приурочением к знаменательным событиям или просто с целью планомерного этического просвещения населения то с трибун, то с амвонов озвучивались концепции о том, что Бог дал человеку свободную волю, чтобы тот мог самостоятельно выбирать между добром и злом. Даже при наличии у гражданина и прихожанина свободной воли и при очевидном присутствии несомненного блага на равнинах и кручах ойкумены вопрос по сути не изменился бы: зачем нужен этот выбор, почему на дороге у путника обязательно должна быть возможность оступить и упасть?

На деле, никакой философский камень не поможет выделить из земных элементов однозначное добро, а свобода воли или предпочтения – это сигнификат, не имеющий под собой никакого денотата, проще говоря, – шелест лексических единиц, пьянящий рассудок. Свобода

не может реализоваться в природе; все, что укоренено в тенетах естества и поддерживается его секретами, – зависимо, детерминировано.

И в академических, и в популярных сочинениях часто мотивы государственных и личных поступков пытаются свести то к воле нашептывающих демонов, то к «эдипову комплексу», то к производственным отношениям и политическим институциям, что всегда является упрощением, случайной и неверной номинацией мирообразующих стихий, работающих на непонятные для общества и индивидов цели. Ментальное пространство человека искривлено таким хитроумным способом, что из-под выводов постоянно ускользает достаточное основание, а исключенное третье вместе с шестым чувством нагнетают из сослагательной заочности мистические пары, что мутят тавтологическую воду, из которой по большей части состоят все рассуждения.

Эта наглухо запертая колония для нас – всё, иные виды варварства и немощности, не говоря уже о способах бытийствования сущего, нам не доступны и не известны. Свободой в здешних узких рубежах считается право переместиться из пункта А в пункт Б, поменять род занятий или проголосовать за тирана. Для многих свобода – это социальные привилегии или вовсе необузданность поведения. Споры о вероятности даже теоретического самостояния в принципе бесплодны в силу разного понимания этой категории оппонентами, несопоставимости их кругозоров, духовных ландшафтов, притязаний эгоизма или напряжений инсайта. Согласие затруднено и между выдающимися личностями, не отождествляющими грубую работу инстинктов с возможностью ничем не обусловленного принятия решения (вспомним хотя бы знаменитую дискуссию между Лютером и Эразмом Роттердамским).

Для чего Бог, который властен творить в масштабах полного благополучия, создал мучительные бдения в условиях скоротечности и бесперспективности? Такие деяния Всевышнего кажутся недостойными Его величия. Самозванные миссионеры и глашатаи священного света нередко вынуждены констатировать его явные темные выплески и, чтобы реабилитировать Творца, смело берут на себя роль адвокатов Божьей мудрости и составляют пламенные панегирики, которые, подлаживаясь друг к другу, складываются в общую теодицею. Употребление термина «теодицея» (богооправдание) связано с опубликованием трактата Лейбница «Опыт теодицеи о благодати Бога, свободе человека и происхождении зла» (1710), где он старался доказать, что Бог справедлив и благ, несмотря на хронические триумфы козней и лицемерия в хижинах и дворцах, на форумах и в будуарах.

Только наивный вероисповедник может полагать, что торжествующее зло – это изобретение людей, которые не соблюдают заповеди богов своих религий. Внимая разношерстным нотациям на эту тему, с тоской задумываешься, чего здесь больше: невежественного простодушия или непомерной гордыни? Это надо же! Втиснутый в мясную оболочку бедокур, не создавший в себе ни мельчайшей частицы, не знающий, что с ним произойдет через день, воображает, что способен хозяйничать вопреки Божьей воле! Впрочем, такие убеждения не поддаются осмыслению, они возникают, здравствуют и выхолащиваются вне мышления.

По большому счету, любая теодицея – это искусно или заметно криво сплетенные кружева казуистики. Если она строится на логическом фундаменте, то с помощью логики ее можно и разбить; если она задействует также иные сферы интеллекта, то на ее доводы можно соорудить контраргументы из этих же сфер. Выводы о том, что Бог не виновен в невзгодах тварных существ, потому что они, вопреки высочайшему повелению, ведут себя скверно, пахнут ребячеством. Чтобы противостоять Создателю мира, надо обладать полнотой его могущества, всей сутью его божественности. Ослушание означало бы равномощность Богу, право на диалог с Ним и на собственное волеизъявление. Наделенное такими потенциями существо было бы со-творцом Вселенной и входило бы в когорту невообразимых небожителей, а не в отряд млекопитающих, плотоядных и кровожадных.

Заклученные в плену представлений выкормлены мороком, а их отношение к Богу – предопределено. Заявляя о своих конфессиональных или атеистических убеждениях, ортодокс или вольнодумец пытается приложить узкие мерки к безмерности, а на деле лишь демонстрирует врожденные качества личного характера, свой набор хромосом, сердечных склонностей, умственных задатков и нехваток. Насельник богооставленного царства одержим богоискательством или богоборчеством в той степени, какая положена ему для прохождения персональной практики на ниве идолопоклонства, почве предпринимательства и поле брани.

Кто найдет в себе мужество отказаться от вымученной, хромой схоластики, тот увидит нагую правду: зло наличествует, воспроизводится, разделяет и властвует только потому, что так хочет Бог, никаких других условий и предпосылок для оккупации планеты этой силой нет. Следует ли отсюда вывод, что Бог зол? Конечно, не следует; божественные атрибуты – вне интеллигибельности и сенсорики, мы не знаем о Нем ничего. Все наши фантазии насчет интенций и воплощений мирового духа, переворачиваясь с ног на голову в эпохи реформаций, прогрессируя в спокойные годы, свидетельствуют лишь о расцвете или упадке художественного воображения. Иллюзии царствуют, иссякают, чередуются по заведенному для них порядку. Вдохновительница каждодневного взаиморазвлечения и взаимопоедания госпожа Глупость снискала достаточно похвалы в гениальном произведении. Действительно, принимать всерьез и с оптимизмом это столпотворение возможно только с ее помощью; все поэтические и прагматические панегирики жизни, которая, кровоточа и бешенствуя, изживается, имеют фальшивые ноты и глянец скудоумия.

Подавленный видами повсеместного страдания и особенно муками детей, Иван Карамзозов говорит Алеше, что он готов отказаться от вечного блаженства, если за него надо платить такую цену во владении Хроноса. «Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармонию... Слушай: если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети?... Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу вернуть обратно... Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почти-тельнейше возвращаю». Несмотря на крайнее отчаянье, Иван Карамзозов – оптимист. Он считает себя держателем билета в рай! Где они, эти заветные документы? Если бы мы имели билеты в вечную гармонию, вся мировая философия была бы иной, да и сама жизнь тоже. В том и кошмарность положения, что мы не знаем, куда нас гонят пьянящие ветры, и не можем вернуть Создателю ни свое обличье, ни всученное приданое, именуемое судьбой. Явная свирепость разыгравшейся под облачным навесом буффонады наводит на мысль: а не выдадут ли нам путевку в еще большую дисгармонию?

Можно ли на этом месте поставить точку, а заодно и крест на такого рода рассуждениях и считать тему столь неблагоприятно для нас закрытой? Да, но только теоретически (боль не позволит снять вопрос о себе) и при условии, что род людской – это лишь многоликий мальчик для битья. Так ли это? Окончательно ли убийство двуногих бесперых, не щадящих ни четвероногих, ни пернатых, ни ближнего своего? Наперекор гнусной фактичности во вместилищах разума парадоксально гнездятся базы не-данных, которые весомей наглядных параметров. Задавленное эго чует родство с магической полусферой, где горит звездное уравнение из одних иксов, таящее восторг и ужас своего решения. Какими красками заиграют покинутые захолустья мироздания в свете великого преображения? Как оценил бы землянин, превзошедший себя, причастившийся к бытию, вынесенные им тяготы в горниле эмоций под диктатом казенных фикций? Как бы виделись ему с высоты его положения отбурлившие гейзеры низменности в несчастной долине, уже исчерпавшей свои причины? Ясно только одно: его знание под эгидой непреходящей истины субстанциально отличалось бы от догадок смертных существ. Такие раздумья не приносят много утешения, ибо неизвестно, обретем ли мы базис для оправдания слепых и жестоких перипетий, которые сейчас отдают роковой ненужностью.

Исследование или просто разглядывание совокупностей и частных культурно-исторического наследия или специфики современности провоцирует мучительный вопрос, которого трудно избежать и неутомимым софистам, и поклонникам эпохе: если даже подопечные планы и фортуны видят иногда никчемность происходящего и готовы «вернуть билет» в рай, отречься от вечного блаженства, лишь бы не кормиться тут ядовитыми плодами древа незнания, то для чего это Богу? Для каких целей в его неохватных владениях бесчинствует клочок загрязненной местности, где каждый субъект не у места и каждый объект неуместен? Что означает суетолака гиблых энергий на пашнях и в индустриальном смоге, под куполами цирков, соборов, стадионов, на ниве коррупции и поле брани? Где, на каких скрижалях отметится результат этих бдений? Кому нужны рвения и трения слепого мрущего коловорота? А ведь нужны! Для чего-то занесли нас сюда космические ветры и сдувают со всех четырех сторон в гипотетичные иные измерения.

На богооправдание может всерьез и с наилучшими умыслами подвигнуться лишь наивность, яро обнажая свои картонные мечи, подкрепляя процесс ладных умозаключений вышивкой хоругвей и окраской яиц. Что делать тем, кому в силу «нравственного закона внутри» претит участие в карнавальных мистериях? Самое разумное было бы, наверное, замолчать и ждать разрубки узла *пространство-время* и развязки солнечного сплетения. Но тяжело страдалцу уравнивать перепады давления недоли и немотствовать в раздражающей обстановке. Вряд ли можно порицать узника стихий, взывающего к их повелителю: во имя чего разрушает меня неистовая безымянность, что за эмпирии питаются моей утлой эмпирикой, какая безусловность коробит мои условные рефлексy, склоняя их к атрофии? А если уготовлены каждому неприкаянному озарение и счастливый приют, то для чего ему нужно обзаводиться негативным опытом горестей и немощи, надрывая органы восприятия? Кажется, они только для того и предназначены, чтобы принимать колющие и режущие удары агрессивной среды и толчки внутренних недугов.

К слову, далеко не абсурдным было бы утверждение, что боль – это главный показатель, по которому Я идентифицирует себя как Я, как субъекта. Не будь боли, отношения субъекта и объекта, в любом случае непростые, окончательно запутались бы. Но терпящий знает точно, что это он мучается, как бы расплывчато ни определялось его многосоставное Эго. В кульминации боли нейтрализуется хмель животворности, психобиологические системы захлестывает едкий субстрат «пограничной ситуации». Словно и не было истории с географией. Такие состояния возможны и при сильном страхе, крайнем изумлении, шоке, гневе. Следовательно, на всех широтах и долготах, как в приснопамятном Датском королевстве, не все очевидно и однозначно с «быть» и «не быть». Какой статус присвоить учреждениям, святыням, цитаделям, если их затейливая многоплановость легко упраздняется напором накаленного чувства? А чего стоит сознание Я, мгновенно растворяющееся в ударной волне аффекта? То, что подлинно есть, не подвержено исчезновению, а тот, кто подлинно есть, никогда ничего не теряет.

Констатация людьми своего отчаянного положения, демонстративные и тайные апелляции к Создателю, спонтанное выражение крайности чувств, молитвы и патетичные вопрошания – понятны и непредосудительны, это ответная реакция на эксцессы необузданного естества, монологи души над пропастью. Другое дело – формировать из тенденциозно подобранных фактов, постулатов и своих якобы добрых намерений доказательства правоты Предопределения; они кощунственны и нелепы не только потому, что вся мятущаяся явь с косым и косным инвариантом вопиет об обратном. В первую очередь бросается в глаза и неприятно удивляет уверенность апологетов в их праве выступать экспертами Божьих деяний (что предполагает взгляд свысока) и трактовать интенции *абсолютно много* на наречиях губительной замкнутой системы. Вербальные комментарии к безмолвию непостижимых сил, случается, «жгут сердца людей» наряду со страстями и напастями; ничего, кроме истощения кровяного насоса, при этом не совершается. Никакие превосходные степени глаголов не превзойдут бедную специ-

фику выражаемых ими действий, которые, аккумулируясь, образуют беговую, обреченную действительность. А улавливаемая между строк, ускользающая за окоемые информация – не из первых рук (и не содержит ничего последнего). «Языковые игры» – для «человека играющего», заигравшегося и всё проигрывающего.

На поверхности теодицей – эквилибристика слабоумия и остроумия, напускного благочестия и посконной искренности, а под гримом ущербного пафоса виднеется подлинная цель богооправдания: защищая ниспосланный порядок, люди сознательно, а чаще неосознанно хотят узаконить и облагородить свое неумное желание пульсировать и размножаться любой ценой, даже под гнетущими переливами дамоклова меча. Богу, бесспорно, ни к чему ни проекции, ни аплодисменты отлученных от бытия марионеток. Адвокаты Вышнего Промысла стараются для себя, они тшятся отшлифовать облик Вседержителя для своекорыстного пользования, с тем чтобы удобный кумир легко помещался в алтарях и источал дозы благословения пропорционально густоте окуривания и громкости хвалебных речитативов.

Никому не нравится признавать себя безвольной деталью таинственного генератора неблагополучия. Инстинкт самосохранения не дремлет, он заглушает неугодные доводы рассудка, а ген радости окрыляет бойких фигурантов «ярмарки тщеславия» на витках коловращения и в «погоне за ветром». Герман Гессе: «Нужно немало ограничений, заземленности, поверхностного идеализма, морали и скудоумия, чтобы сохранить человеческий статус и обеспечить его продолжение». Интенсификации рутины способствуют и древние возбудители инь и ян, которые то собирают в отведенное время камни, то бросаются ими и передают по наследству каменоломни и привои оголтелого энтузиазма. Ярая привязанность к близлежащим данностям и отсутствие дальних горизонтов, неусыпная алчба, насыщающаяся легкодоступным кормом, – это затмившее высь и преисподнюю самодовольство «здесь и сейчас», где нет места мысли о смерти и вообще любой мысли, не обслуживающей пир гормонов и секретий.

Задумавший земной трагифарс доведет его до какого-то нелогичного конца, не вытекающего из перманентной борьбы видов и родов, не лишенной, впрочем, заманчивости. Идиллически настроенные адепты прогресса и жизнелюбы не устают повторять, что не все в мире злокачественно: несмотря на повсеместность цинизма и лицемерия, не иссякают родники мужества, благородства; шедевры искусства причащают к высокому и священному, и даже колыханье пчелы над цветком или хороводы снежинок доставляют отраду. Конечно, нельзя не заметить, что противовесы зла наличествуют, выполняют свою работу и внушают некоторым умам надежду, что добро и красота победят и будут главенствовать на всех континентах. Симпатично оформленные упования на грядущую эру благоденствия можно отнести к жанру утопии. Ценности гуманизма – приторно-сентиментальны и не убедительны, высокопарны, но беспочвенны и привлекают лишь как антиподы порока. Как бы они выглядели без своих антагонистов – непонятно, и строить гипотезы на эту тему скучно. Зло, которое теоретически можно преодолеть общественными усилиями, – только небольшая часть неуёмной всеразрушающей трагедии под названием «жизнь под солнцем». Счастливы ли гипотетические те, кто никогда не входил в зону влияния восхитительного и вредоносного светила? Что ознаменует собой его последний закат?

Устоявшиеся старые и новые теодицеи созданы по правилам своего жанра и не имеют больше значимости, чем другие виды письменности. Богооправдание и богоотрицание – это риторические упражнения, вносящие свои ноты в копилку полифонического, банального и томящего земного пустозвонства. Рвение толкователей неба, присовокупляющих к делу то лепту, то тридцать сребреников, не выходит за рамки закона сохранения и растраниживания энергии. Человек, пока он заложник погодных циклов, эпидемий и урожая, не узнает, какими узами он связан с Тем, кто его сотворил, не по своему подобию, конечно, но себе на потребу (ведь нет смысла создавать бесполезные вещи; или есть?). Из каких посылок можно вывести существование не удобного или не нужного Богу объекта? Интерпретации завязтых тружени-

ков прикладных наук – не в счет, эти деятели варятся в соку «естественной установки» и утробного энтузиазма, нисколько не печалась от того, что сварятся. Рядовой естествоиспытатель имеет в виду лишь то, что виднеется, что доступно невооруженному и все больше застекляющемуся глазу; он сам – часть своих видимостей и на экзистенциальные проблемы реагирует инфантильно, со всей беспечностью и запальчивостью детства.

Факт наличия человека в скудном объеме ущербной реальности (или в гуще оптических обманов) означает какую-то Божью заинтересованность в нем (может, и преходящую). Вынужденно реагируя на динамику эпохи, лавируя между утлыми нагромождениями законов и заветов, имеющий сверхслух чувствует тишайший гул бытия, не допускающего никакого мнения о себе. Дико и неисправимо то, что каким-то способом пробавляется вне бытия; чудовищны временные поселения, где каждая клетка организма, любой виток дедукций и озарений, все плоды смирения, гордыни, захватнических кампаний и подвигов бескорыстия подвержены износу и распаду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.